

Галина Щербакова

LOVEстория

I

...В эркере — как на носу корабля, но без качки. В этом его безусловное преимущество. Из открытой форточки легкий сквознячок с запахом свежей травы: вчера подстригали газон. Триста лет подстригали изо дня в день. На этом зацикливаться не надо — собьешься с толку... Начнешь думать, как и чем это делали в семнадцатом веке, а оно тебе нужно? Нужен тебе семнадцатый век? То-то... Тут ведь главное другое — фантомное чувство, чувство от несуществующего! О! На него такое можно нагромоздить, что бедному газону и не снилось.

Громожу...

Через него — газон, на котором стоит белое ажурное кресло, — идет высокий, по пояс голый мужчина с махровым полотенцем через плечо. (Это надо читать и писать быстро-быстро, как скороговорку.) Он шатен, в темных очках. И у него глубокие выемки ключиц. Это у сутуловатых непременно: горб — ямка, ямка — горб.

Вот пока он идет через газон, я засыпаю. Что и есть наиважнейшая цель. Поэтому доходит ли сутулый до дома с эркером, я никогда не знаю.

Тут интересно и наблюдение со стороны. Как бы с лавочки у подъезда. Если тебе нужен для засыпания мужик (гипотетический, фантомный), так пусть же он будет стройным! На фига тебе эти чертовы выемки?

* * *

Чужая точка зрения — это далекая граница. Новая Зеландия, к примеру. На ее новозеландское мнение — тьфу! Прислали масло «Анкор» — и спасибо. И идите себе дальше и дальше вниз головами. Кроме масла — неинтересны.

Возвращаемся в эркер.

Если не удастся уснуть в момент существования в нем, я помещаю себя на дорожку к дому. То есть я как бы сама иду к нему. Тогда уже ключистый мужчина стоит в эркере, но меня занимает не он — стоит себе и стоит, — а занимает дом, даже почти замок с заостренной крышей, от которой у меня заходится сердце, и почему-то именно поэтому мне хочется расплющить шпили и башенки.

В результате я выравниваю их острия крыши до азиатской плоскости, и тут уж наверняка... В борьбе готики и сакли я засыпаю, победив красавицу готику.

Комплекс Тараса Бульбы: раз породила, то

убью. Конечно, после такого не спать бы, а в ноги Богу кинуться за прощением, но где ж вы такое видели, чтоб мы после мысленных убийств кидались в ноги? Мы и после других кушаем с аппетитом. Поэтому порушить воображаемую готику все равно как муху шмякнуть свернутой газетой «Правда». И хватит про это.

Бессонница...

Есть еще третий способ — встреча с Королевой. Все равно с какой. Дело в том, что в войну один немец художник нарисовал мой портрет. Русская девочка с собакой и шоколадом. Который он же и дал. Собака была моя. Такая картина действительно была завершена до Сталинградской битвы, и я даже поставила внизу свое имя, на что немец сказал мне: «Данке шен, Анна! Молетец...» Так вот мое воображение: эту картину как бы увидела одна из Королев, посчитала на пальцах, что мы могли быть с ней ровесницами, и велела подать меня на обед. В ошеломлении от возможной встречи я ищу целые колготки и, естественно, засыпаю счастливой и утомленной. Надо сказать, что сама картина Гнемца по имени Вальтер (кажется) занимает меня больше, чем Королева. Я так хорошо себя помню на ней: худое, испуганно-любопытное, гл-застое существо с двумя неровными косичками. Холст. Масло, между прочим. Не халам-балам.

Поэтому третий способ засыпания под названием «Встреча с Королевой» популярностью у меня не пользуется. Хотя благодаря картине это самая реалистическая история. А вот эркер, газон — чистая выдумка, их не было сроду. С сутулым мужчиной было неясно. Он был, и его как бы не было.

Так с мужчинами бывает сплошь и рядом. Вот уж фантомы так фантомы. Являются в костях, мясе и крови, цвете, вкусе и запахе, а исчезают, как дым.

Но это я и вру тоже... Это проклятущая впадина ключиц... И еще запах... Запах мужчины, сидящего на полу и завязывающего шнурки.

Идите вы к черту, современники победительных дезодорантов. Вы ничего не понимаете. Ни-че-го.

Долго и надежно срабатывали способы засыпания. Ровно до того момента, как срабатывать перестали.

Однажды это ушло раз и навсегда. Все было как вчера — подушка, ночь, фонарь, аптека, но в подушке были комки, ночь была серо-белесой, фонарь тускл, а в аптеке не горело «т». И все это — комковатая подушка и безбуквенная аптека — стояло насмерть, как у нас принято стоять, все держало мертвой хваткой. Пришло сознание: в эркер и к Королеве билеты кончились. Навсегда.

Я давно знаю: что бы там ни говорили

материалисты, мир вещей и звуков зависит только от меня. И если, не дай бог, на небе не взойдет луна или там припозднится по времени, значит, заело что-то во мне. Ваше дело считать иначе. Ваше дело подозревать, что мир фурычит не от меня, а от вас. Или что он объективен и сам по себе. Ерунда. Мои — небо, солнце, луна и аптека. Исключительно мои подданные. Это я выбила цвет у буквы «т». Просто я не люблю эту букву: тоска, трусость, тяжесть, труп, тлен.

Поэтому... Поэтому, когда рухнул эркер и Королева каких-то там земель съехала от меня навсегда, я поняла, что во мне случилась Большая Поломка.

Пришла подруга Валя и задала вопрос в лоб:

— Когда к тебе последний раз приставали на улице мужики?

— Вчера, — сказала я.

— Врешь! — закричала она. — Врешь! К нам не пристают! — И заплакала. — Зачем ты врешь?

Самое главное, я не врала: был какой-то эпизод, бездарный, неинтересный, но с этого момента — момента слез Вали, очень энергичной и деловой дамы, — я начала вести свой отсчет.

И очень скоро я обнаружила нечто. Как это бывает? Идешь по улице, и незнакомый, совсем не твой мужчина цепляет тебя взглядом. Молчаливое, даже некасательное дело, но дивный миг

пребывания в чужом глазу — как молодильное яблоко. Целый день ощущение уверенности, силы, все ладится, горит в руках, а всего-то — тебя зацепили глазом и чуть-чуть поносили в нем.

Моя Валя, которая раньше меня обнаружила эту утрату, кинулась на жизнь, как голодный хищник. Она разбивала себе лицо о Париж и Лондон, приступом брала Рим, с головой окуналась в Мертвое море, что было совершеннейшей дурью, ибо щипало глаза. Но таким образом она торила обратную тропу.

Легко сказать — торить тропу туда, откуда весь вышел. Хотя и сказать нелегко...

А Рим что? Он каменный, ему ничего не делается. Он вечный. Но я скажу другое. Счастье, что мы не вечны и пересыхаем. Потому что нет другого способа понять цену жизни, как увидеть ее конец.

А эркер? Что такое был эркер? Это была тайная грешная молитва на ночь увлажнить пересыхающее лоно, это была тайная мечта о любви.

Но, увы, и воображаемые эркеры трухлявы и конечны. Конечно, можно конец сделать началом. Началом рассказа о любви. О пребывании в глазу чужого мужчины. И бог с ним — с Римом! *Roma locuta, causa fenita*. Гудбай, вечный.

Я о другом. О любви девочки, поедающей

дармовой немецкий шоколад, рассказанной самой девочкой, когда она уже совсем выросла и стала мечтать о доме с эркером и новым мужчине, а потом поняла, что ей это на дух не надо.

— Ты сошла с ума! — закричала подруга Валя. — Как ты смеешь выбивать у нас табуретку из-под ног?

— Дура! — сказала я ей. — Я не выбиваю табуретку. Я, наоборот, снимаю тебя с эшафота.

Но она хлопнула дверью и нашла какого-то ботаника, не востребовавшего историей и женщиной. Она вымыла его в шампуне и купила костюм в дорогом магазине. Ботаник вскинулся душой и телом и решил — идиот, — что он создание нерукотворное, что он таким чисто пахнущим и родился. Он посмотрел на мою подругу сквозь модные очки и остался разочарован. Так и ушел от нее с дарованными бебихами, а подругу пришлось срочно отправлять в Иерусалим на моление. Она утыкала Стену плача просьбами о любви, как млекопитающий броненосец, прошла по дороге Христа и вернулась иссушенной, как фасолевый стручок.

— Бога нет, — сказала она. — Я не видела. Надеюсь, ты не пишешь свое идиотское сочинение о нашем возрасте? Это будет оскорбление нам всем. Американки после пятидесяти только разговляются... Поздние сады — самое то! А

библейские дамы? Сколько им было? Мы против них девчонки!

Наверняка я буду подвергнута...

Я подозреваю, нет, знаю точно — любовь по сути своей бесполоа. Я помню свою первую детскую любовь — она была к девочке. Я ведь не знала, что моя улица дурна и грязна, что двухэтажный барак, выстроенный для шахтеров напротив наших прикрытых сиренью хаток, — уродлив, что облепившие барак сараи — некрасивы. Я не знала, потому что не видела еще ничего другого. Провидение высадило меня на эту территорию и сказало: «Живи». Сам процесс жизни оказался весьма интересным.

Поэтому я и не умерла, хотя за мной то и дело приходили оттуда, и мама, и бабушка отбивали меня от смерти, как могли. Выходя из очередной болезни, я опять и снова ликовала, что ножки и ручки дрыгаются, глазки смотрят, некрасивость окружающей меня действительности ну никак не задевала мое существо.

Пока я не увидела красоту.

Девочку-ровесницу, волею партийных передвижений ее папы оказавшуюся на соседней улице, прикрытой нашими домами от черного по сути и по цвету барака. Девочка в матроске с красивыми белокурыми волосами шла за катившимся мячиком и встретила меня — босую,

худую, в цыпках и в одних ситцевых трусах, потому что носить что-то над трусами нужно не было. И долго, между прочим.

— Меня зовут Мая, — сказал она. — А тебя?

До сих пор сжимается сердце, когда я вспоминаю это пронзившее меня обожание. Была бы у меня сила, я носила бы Маю на руках, потому что земля была явно недостаточно хороша для ее туфелек. Я водила ее за ручку по нашим колдобинам и выбоинам, хотя, как выяснилось, она была старше меня на год. Я убирала с ее дороги камни и ногой отбрасывала собачье дерьмо. Я подымала над ней ветки сирени и усаживала на пенек, покрыв его чистым полотенцем из комода. Засыпала я с мыслью, как отталкиваю ее в тот страшный миг, когда она оказывается рядом с глубокой ямой градирни, которая жила рядом с нами и была всегда открыта. Уже сейчас думаю: почему никто из взрослых не пытался ее прикрыть или огородить?

— Осторожно, градирня! — кричали родители, выпуская нас на улицу. Вот и вся техника безопасности.

То было раннею весной... Перед войной то было.

Поклонение мое длилось... Пospела война, а с ней и эвакуация, которая случилась уже в июле или даже июне. Начальство бежит скоро. Это нехитрое

наблюдение у меня с младых ногтей. Маина мама передавала шоферу чемоданы прямо в распахнутые окна, сама же Маечка стояла на крылечке с огромной куклой с закрывающимися глазами. Такой куклы не было ни у кого из нас, и остающийся у немцев детский народ, замерев, смотрел на красавицу как бы в последний раз. Мы тщательно запечатлели ее в сердце и были в этот момент тихие и сосредоточенные. Я же смотрела на Маину руку согнутую в локте, на рябинки оспы на плече... Да плевала я на куклу! Я хотела одного — чтобы Маина мама взяла меня с собой. Я готова была стать чемоданом, баулом, обшитой сверху вафельным полотенцем корзиной... Чем угодно... Могла ли я знать, что мое худенькое тело выбрасывает в космос такую энергию, что не считаться с ней просто уже нельзя. Ток сработал, и я на всю жизнь оказалась приваренной к Мае. Бог, смилостивившись, даровал мне неотделимость от обожаемой подруги, дав от щедрот своих одну на двоих любовь к мужчине.

Назовешь ли это даром небес?

Не сработало ли ведомство-антипод?

Мне бы тогда уйти с прощального крылечка, мне бы впасть в очередную смертельную болезнь... Но несчастное дитя было, к несчастью, здорово.

Оно страстно желало и таки вымолило свою судьбу.

Что было потом? Вспоминала ли я Маю? Не знаю, не помню. То ли война оказалась достаточным отвлекающим фактором, а может, я болела с горя, но в памяти совсем другие воспоминания. Например, первая правильная любовь — к мальчику, который мимо нас носил воду. Каждый раз, когда он передыхал с полными ведрами у нашего забора, бабушка говорила ему: «Ты бы, Витя, брал коромысло». Но Витя, чуть приседая, хватался за дужки ведер и упрямо качал головой. На коромыслах воду носили женщины, и только бабушкиной ядовитостью можно было объяснить такое предложение мальчику. Естественно, я его полюбила за муки таскания воды и за мужскую гордость.

Приход и уход немцев, возвращение людей из эвакуации, конец войны, уроки «военного дела» в школе — тем не менее! — встать — лечь, встать — лечь, школьный хор, где я тоненько выводила: «Ура-а-а-л голубой, золо-о-о-тою судьбой, тебя-я-я наградила Рос-с-и-и-ия...» Потом оказалось: навыла себе судьбу, занесло меня на голубой Урал в самое что ни на есть время: кыштымский взрыв. Но это другая история.

А однажды... Однажды летом, перед самым десятым классом, по нашей улице прошла Мая. Помню себя в гамаке под яблоней — мое любимое

место, — из которого совсем не видно окончательно зачерневший барак и спаренную с соседями уборную. Я примостила гамак одним концом к яблоне, другим к летней кухне и из этой западни видела только приятный глазу кусок улицы. Ветки жухлой в августе сирени были тут кстати.

Итак, я в гамаке. Плачу. У меня на груди «Домби и сын». Их всего три в природе книги, над которыми я плакала, как говорили раньше, горячими слезами. Это «Домби» Диккенса, «Метель» Пушкина и «Обрыв» Гончарова.

И надо же тому быть, что Мая появилась именно в плакучий момент. Хоть прошло больше десяти лет, я узнала ее сразу по не нашему фасону платья и по белым локонам, которые носить в школе не полагалось. Правда, я как-то сразу сообразила, что она на год меня старше, а значит, уже не ученица.

Мне бы взлететь из гамака, мне бы кинуться к ней, но, видно, десять лет и в юности могут в момент отяжелить и ноги, и сердце. Я слушаю, как ухаёт в груди, как меня затапливает счастье и нежность, я замираю, закрыв глаза, пока не слышу насмешливый бабушкин голос:

— Ну где ты там, изба-читальня? Тут Мая приехала. Что до войны тут жила...

Как будто мне надо было объяснять, кто она

есть. Я поднялась, остро ощущая все несовершенство собственной природы. Костистые пальцы ног, худые, длинноватые руки, тонкую шею, которую я все время подозревала в наличии кадыка, сеченые прямые волосы, заплетенные в две невыразительные косички, смуглость кожи, никогда не освещенную румянцем, которую мама раз и навсегда определила как «плохой цвет лица». И на всем этот неказистом теле еще более неказистый сарафанчик из старого маминого платья, рухнувшего в районе груди и рукавов. Такие ношенные платья легко трансформировались в летние сарафанчики для подрастающих дочерей. Дальше всего служили подолы, превращаясь в юбочки для младших сестер, потом в кухонные занавески, потом в ножные полотенца, мешочки для крупы и, наконец, в тряпочки для пыли. Пребывание в роли тряпочек длится почти бесконечно. Приезжая через много-много лет, я обязательно находила на другой службе материю своей жизни. Наволочка на «думочке» из выпускного платья. Абажурчик на сгоревшем торшере из блузочки на первую зарплату.

...Как далеко может увести подол старого сарафана... Если над ним замереть.

На негнущихся ногах я пошла навстречу Мае. Мне страшно, мне радостно, мир сдвинулся...

— О, какая ты! — сказала она с плохо скрытым женским удовлетворением.

— Ни черта не ест! — прокомментировала бабушка. — Одни семечки. А ты как была хорошенькая, так и осталась.

Она посмотрела на меня, как бы пытаюсь сравнить, и я видела, что ей стало обидно за невыгодное сравнение.

Но я и тогда уже знала: так просто бабушка меня не сдаст.

— Есть красота ранняя, а есть поздняя. У нашей другая порода. Блондинки вянут быстро, ты это, Мая, помни...

И бабушка ушла, проведя легонько меня по лицу, — до сих пор помню этот ее легкий ворожбливый жест. Помню, что я рассмеялась и сказала радостно и естественно:

— Маечка! Я так тебе рада!

Она улыбнулась, как улыбалась в детстве, все во мне перевернулось, хотелось снова и снова водить ее за ручку и поднимать перед нею ветви.

— А знаешь, — сказала Мая, — я уже замужем. Полтора месяца...

Оказывается, бабушка подслушивала. Потому что она тут же выскочила из летней кухни и, размахивая полотенцем, закричала:

— Нюра! (Это имя плохого ко мне отношения. Анюта — это когда я в ее любви, Анеля — когда

бабушка в гневе, Нюся я — только по хозяйственной нужде. Нюра — это конец света. Это когда я и дура, и неряха, и хамка, и меня не то что любить нельзя, на меня смотреть противно.) Нюра! Тебе сказано полы мыть или?..

Мне не было сказано. Мытье полов — дело тяжелое и громоздкое, оно обговаривается заранее, и такое в нашем доме не забудешь.

Бабушкин выпад был прозрачен, как капля росы: нечего водиться с замужними. Дело в том, что к десятому классу уже случилась парочка историй, закончившихся брачеванием. Уму непостижимо, но в моей семье это вызывало шок на неделю или месяц. Выскочить «раньше времени» было в табели грехов самым страшным. Похоронить в детстве лучше. Мама и бабушка тут же проводили демаркационную линию, дабы я никогда и ни за что не могла пересечься с этими «распутными дурами», с этими «живущими передком», с этими «так называемыми женами».

Между прочим, и не пересекалась. Сейчас я думаю — как же так? Крохотный городок, всего ничего улиц и магазинов, куда же они девались, эти «так называемые»? Этот почти мистический аспект имел простое житейское объяснение: мы не совпадали во времени. Пока я сидела в школе, «живущие передком» шли в магазины и на базар,

стирали и вывешивали белье, мели двор, носили воду, а когда мы — нормальные девочки — возвращались из школы, они старались не выходить на улицу, потому что сознавали греховность своего раннего замужества. Даже самое счастье-рассчастье не могло поколебать сего. Таким был устой.

Поэтому истошные крики бабушки в день прихода Май были мне понятны, хотя и стыдны. Одно ей оправдание — она сбилась со счета. Она не знала, что Мая старше на год и уже имеет права на другой образ жизни.

У Май всю жизнь удивительное чутье на плохое к себе отношение. Она его ухитряется уловить заранее, чтоб тут же вмешаться и превратить плохое в хорошее. Это умение сохранить вокруг себя баланс благожелательности, благорасположенности у нее до сих пор.

— Я уже студентка, — говорит Мая моей бабушке. — У меня серебряная медаль, поэтому я без экзаменов поступила сразу.

— Вот видишь, — сказала мне сбитая с главной мысли бабушка. — Надо стремиться к медали.

Она еще постояла немного на крыльце, раздумывая, как быть, если правила соблюдены, а порядка как бы и нет и опасность соблазна идти не тем путем осталась. Бабушка боится не просто так, она знает, чем это кончается. И я тоже это знаю. В

нашей семье было тайное преступление, совершенное бабушкой. Ее самая младшая и самая умная (такова легенда) дочь умерла после неудачного аборта, на который бабушка ее отвела собственной рукой. Сонечка только-только поступила в институт, пройдя откатку на шахте и рабфак, чтоб изменить позорную графу «служащая» на «рабочая», и на первом же месяце учебы выскочила замуж и забеременела. Я не помню всего этого, я тогда только родилась, но мне рассказали, что мое уже существование было фактором в истории Сонечки отягощающим. Боливар-дедушка вынести двоих-четверых дочек-внучек не мог, не тот у него был оклад-жалованье. И поэтому все силы были брошены на образование хотя бы одной дочери, чтоб уж она... «Не погрязла», — говорила бабушка.

Сонечка умерла. Образ беременности некстати стал в семье кошмаром посильнее, чем даже случившаяся потом война. В войну мы остались живы, а беременность-смерть сломала семье позвоночник: дедушка согнулся в три погибели, а бабушка расцвела экземой. Поэтому отношение к ранним бракам было у нас непримиримым, жестоким, как говорила уже мама, — вплоть до. Свою дочь я выдала замуж в семнадцать лет, и это был мой ответ Чемберлену и воспитанию. Но это потом, до этого еще жить и

жить... А пока мне самой столько, сколько через много лет будет моей дочери, и я стою с обожаемой в младенчестве подругой и чувствую, что мое обожание никуда не делось, оно жило во мне и ждало своего часа.

— Мы в старой нашей квартире, — сказала Мая.

Все стало на свои места. Последнее время мы все время слышали стук и грохот на соседней улице.

Дело в том, что еще в начале войны, вскоре после отъезда семьи Майи в эвакуацию, их квартиру заняла некая многодетная.

У бабушки — экстремистки в определениях — она схлопотала короткое и брезгливое слово — тля. «Такая тля». Бабушка раз и навсегда сделала тле окорот: мимо нашего забора воду не носить, траву козе в наших пределах не щипать, детей своих оглашенных на нашу улицу не пускать. Тля, по имени Клавка, бабушкины правила, как ни странно, приняла, что бабушкино сердце не смягчило. Когда мы узнали, что Клавку срочно выселяют в барак за балкой, место со всех точек зрения нехорошее, бабушка нелогично прокомментировала:

— Она, конечно, тля, но так нельзя. Вон — и все... Хотя можно подумать, я ждала от них другого.

Они — это власть. В нашей семье ее

ненавидели и боялись. Это как бы огонь и вода. Огонь-ненависть тут же гасилась водой-страхом. Запах гари оставался и свидетельствовал... Вода всегда была в запасе, и, если быть до конца честной, ее было гораздо больше, чем огнищ. Но это к слову. Это бантик не в цвет на коробочке с историей о совсем другом.

Мы узнали, что Маечкин папа приехал к нам начальствовать, и ему — стук-грюк — перестраивали бывшую, хорошо поношенную Клавкиной семьей, квартиру. В дом велся водопровод, менялись рамы и двери, а когда чистили сажу, то у ближайшей к дому соседки выстиранное белье погубло напрочь. «Теперь даже сажу не умеют чистить», — удовлетворенно сказала бабушка.

Я хотела пригласить Маю в дом, но это было бы чересчур смело. Я не была уверенной, что Мая поведет правильный разговор. Ведь наличие бабушки поблизости с ее бдительностью и страхом за все мои возможные для совершения глупые поступки — вещь сокрушительная, поэтому я увела Маю от греха и от дома.

Мы гуляли по переулку, вдоль черного барака, туда-сюда, и, если я точно соответствовала месту действия — смуглая в черноту, в обносках, «с голодными и жадными очами», часть, плоть этой унылой и пыльной улицы, где без воды жухнет

акация и сирень, а сморщенные их листочки забиты шахтной пылью, как забиты и наши поры, то вот Мая... Мая здесь выглядела так же, как выглядела бы английская королева, случись в ее «ролс-ройсе» поломка в районе Савеловского вокзала и ей бы, венценосной, пришлось шагнуть из машины в жижу снега и грязи, а мы бы шли мимо, потому что — что нам королева? Тоже мне событие... Тогда же молчал и смотрел барак.

Мая рассказала, что муж ее — студент-железнодорожник — ищет сейчас им квартиру в Ростове, где они будут учиться, что он у нее необыкновенный («Увидишь!»), что они сюда вернулись из-за близости к Ростову («Можно доехать за три часа на машине»), что, конечно, она не собиралась замуж так рано («Были грандиозные планы, но такие люди, как Володя («Увидишь!»), встречаются раз на сто тысяч, а может, и миллион. Он, оказывается, приезжал в Среднюю Азию в гости к своей тете на зимние каникулы («Она у нас преподавала историю, совсем молоденькая»), мы познакомились, ну и... («Ты понимаешь...»)

— А что с учительницей истории?

Вот объясните мне, Христа ради, что мне эта учительница? Почему из всех возможных, сидящих на кончике языка вопросов я задала именно этот? Почему потянула из клубка именно эту ниточку?

На это ответа нет. Хотя — наверное —

именно так, неожиданным секундным озарением, приходит к нам остережение из тех пределов, где все уже известно. Но человек глуп и самоуверен. Ему бы затормозить на знаке, но он, видите ли, знает, куда ему надо. У него, идиота, как бы права вождения всюду. И он пришпоривает коня ли, время, судьбу, а то и все вместе сразу...

А ведь было остережение, было!

Это был день счастья — встреча с Маей. Стало безусловным — получив медаль, я тоже поеду учиться в Ростов.

Мне не читалось, что было фактом удивительным, я лежала в своей полудетской кровати (к детским спинкам дедушка приладил сетку от взрослой кровати), лежала тихо и умиротворенно, такое состояние потом переживется после родов — освобождение, любовь и счастье.

Теперь надо рассказать о Встрече. Я несла в кошелке хлеб к обеду, а они шли мне в лицо — Мая и Он. Высокий, белокурый, в очках. Ну что там говорить? Не считались у нас очки атрибутом красоты и мужественности. Как-то не годилось их носить парням, принижали их очки в авторитете.

Я тут сделала остановку и полезла в ящик со старыми фотографиями — ни одного парня в очках. Потом один старый приятель мне рассказал, как он

случайно, уже студентом, надел очки своей сокурсницы и обалдел от увиденного: он, оказывается, не знал мира, хотя, как говорит, всюду в нем участвовал. «Я украл эти очки, — сказал он. — Такие корявые, старушечьи, с металлическими дужками... У меня развился комплекс вины за свое раннее, «слепое» поведение. Дело даже не в том, что я не видел грязи на себе и вокруг, что само по себе стыдно. Я был ослепленно, самодовольно глуп. Это я понял мгновенно, увидев собственные жирные угри на коже.

Когда приятель мне это рассказывал, я уже вышла из пещеры и мужчины в очках не казались мне физическими уродами.

Но тогда, с кошелкой с хлебом, я еще несу в себе эстетику моего барака напротив... Все мое детство он, черный и грязный, торчал перед глазами, хотя беленькие занавесочки на наших окнах в его сторону всегда были задернуты. Бабушка презирала барак, но, что делать, он часто был сильнее...

Мая познакомила нас. Конечно, я оробела и смутилась. Это был первый «чужой муж» в моей жизни. У него была твердая сухая ладонь, и он довольно крепко сжал мои пальцы. Я нервно подумала, достаточно ли они у меня чисты и не пахнут ли чем-нибудь не тем. Я хотела быстренько

рассмотреть себя со стороны, но поняла, что опоздала. Серые глаза за очками очень внимательно, с непонятным мне удивлением ощупывали меня тщательно и бесстыдно. Рядом с Маей подвергнуться такому обследованию равно уничтожению. Но у меня ни гнева, ни протеста, а одно мучительное моление: «За что?»

Они идут меня провожать. Я не знаю, как ставить ноги. Я чувствую западающую между колен юбку. Она простая, ситцевая, но как скребет по телу! При чем тут юбка? Это друг о дружку царапаются мои ноги, неуклюжие, худые, в стареньких маминых босоножках.

А тут еще дряхлая кошелка. Плетеная, с двумя ручками... Их уже не носят даже у нас. Через сорок лет вернется на них мода, как на русскую экзотику. Но ту, с буханкой хлеба, обтрюханную в очередях после войны, я прокляла на всю свою жизнь.

Необходимые уточнения.

Я была вполне бойкая девица.

Была острозыка — конечно, при условии, что близко нет мамы и бабушки.

Начитанность моя в миру была недостижимой, и я могла уболтать любой народ прочитанными (и вымышленными) историями.

Я, как теперь говорят, все просекала быстро и умно, и мне за мою прозорливость даже попадало. Никакие тамошние деревенские хитрости не были

тайной — я читала их с листа.

У меня было два обожателя — из школы и ФЗУ, и я подло играла с ними попеременно, считая это дело святым и праведным.

Исходя из последнего, можно предположить, что не столь никудышными были мои заплетающиеся ноги и прочая география тела, бабушка с удовлетворением говорила, что у меня не то что красивое (нет, нет!), а редкое лицо, на котором «написан ум».

Я к чему? К тому, что не было основания робеть и теряться перед новым знакомым. Но случился удар судьбы, и мы трое на крохотном пятачке пространства жизни были выслежены и расстреляны каким-то переростком с крыльями, эдаким омовцем неба, который обрадовался, что одной стрелой попал сразу в троих. Возможно, ему грозили неприятности за то, что он опустошил колчан не по делу, играя с собратьями по крыльям, утками. Такие дурехи! А ведь стрелы кладовщик выдавал по счету и теперь мог спросить, куда дел, купидон-переросток, а тут такой фарт — трое на солнцепеке, трое в рядочек, так и нанизались, малахольные, на одну стрелу, как на шампур. Так удобно для засовывания в огонь. Просто рационализатор этот амур-омовец: один выстрел — и получай отгул. Можно будет похамить не только с утками. Лебеди давно нарываються.